

СЛОВО

Ярился под ярмом бесправия, бессилия
и душу, как дитя из пекла, выносил.
И каждый божий день мне даровал
не крылья,
но слово – лишь оно мне и давало сил
жить по крестьянской вере и традиции,
жить каждый день взахлёб – накоротке
с космической иронией провинции
и умирать – на русском языке.

ОЗЕРО

Плыть во сне исповедальном –
в тёмном озере лесном –
растворяя тайну в тайном
зазеркалье приписном.

Плыть вдоль дышащей границы
подноготной и небес,
где проблёскивают лица
тех, чьей верою воскрес.

Плыть – парить, раскинув руки
над подводною тайгой,
невесомо, без натуги,
тенью облачно-нагой.

Плыть, впивая всею плотью
свет с истоком вдалеке,
привыкая вновь к свободе
и полёту налегке.

ПОЕЗД УХОДИТ

Поезд уходит в полночную осень.
Черти грохочут под каждым вагоном:
Малый: «Догоним, по-строгому спросим!»
Старый: «Чуток – и догоним!»

В каждом вагоне и с каждой скамейкой
дни мои грустно таращатся в окна.
Я – как последняя проба ремейка –
в это же действие вогнут.

Перед глазами киношной келейкой –
чёрный квадрат, подсвеченный детством:
кинопись жизни, где склейка на склейке –
в общенародном контексте.

Поезд летит, как в побеге растратчик,
переменяя тоскою дыхание.
Как же сладка из последней заначки
жизнь за прозрачною гранью.

Сириус белым горит, светофорит,
гонит в Аид, в пересуд бесконечный,
где – первым кругом, огнями «love story» –
меченый, мельничный, Млечный.

СОВРЁТ

Ещё до смерти музыканта
его душа гостит в Раю,
и ей поют все птицы сада,
приняв, по праву, за свою.

А музыкант сидит бездумный
в прихожей Ада – в кабаке,
упёршись взором полоумным
в Содом теней на потолке.

Худые выцветшие руки,
вчера взлетавшие легко,
лежат отставленной прислугой,
что задремала под хмельком.

И – за мгновение до краха,
земным на грош не дорожа,
он слышит сквозь припадок страха,
что возвращается душа:

какой-то простенький мотивчик,
полнейший вздор, шестнадцать нот –
но оживает он, счастливчик!
И, подпевая ей, соврёт.

ОДА ЧАЙНИКУ

Здравствуй, чайник мой походный,
собеседничек охотный,
знатный времени транжир –
рад, что ты, как прежде, крепок,
и венчает блеск заклёпок
твой начищенный мундир.

Как зачатое наследье
ты пришёл, впитавши медью
судьбы лагерных широт.
Как по глобусу гадаю
путь твой, пройденный до края
исторических щедрот.

Копоть смыть – не смоешь имя,
за кого ты шёл в польмя
с гордо вздёрнутым рожком.
не изноешь волчьей ночью
стон души чернорабочей,
что крестилась кипятком.

В век потравы и распада
среди гламурного парада
ты один душой горяч:
искрою небесной мечен,
по-земному – человечен,
и по-божескому – зряч.

ПУЛКОВСКИЙ ФРОНТ

Пью за Пулковский фронт, за свинцовые будни поэзии –
за юнцов, чьи надежды по-братски в могилы легли,
чьи мечты и сейчас – в заревом, неподкупном железе –
в неизбывном бою на высотах сыновней любви.
Здесь – где не заживают, не рушатся времени рвы,
здесь высокие сны – вопреки огневью и потраве –
на рубежной черте прорастают травой на крови –
в смертной славе, в золотой царскосельской оправе.

ОН В ХРАМ ВХОДИЛ

Он в храм входил по стеночке, сторонкой,
и в боковину шёл, и молча плакал там
под закопчённой свечками иконкой,
а, покидая храм, глядел в глаза попам
с таким прискорбием, что, сотрясаясь в рясах,
они в огне стыда горели, как в проказе;

Клялись и каялись всю ночь с молитвой,
всю ночь толкли грехи под плачи псалтыря.
Но грезился всё ОН – грозой омытый,
со взором пристальным и ясным, как заря, –
как вышел к ним босой из боковой сторонки,
где Богородицина высилась иконка.

Всё виделся его скудельный крестик –
огнь ярый от креста на миг занявший храм –
тьмы страждущих чудес, но чуждых чести,
и тьмы иных, где скрыт непокаянный срам.
Сквозь жидкость стен, качавшихся волною,
был виден рыбий блеск ошую аналая.

Слепые иноки – внезапной бурей
при самом входе в храм поваленные ниц,
оборотясь к раскрывшейся лазури,
впивали свет цветком порушенных зениц:
над ночью горечи, где уж брели без силы –
вдруг вознеслось стремительно светило!

Культю чела, порубленную плетью,
баюкал первый – тот, кто, свой аршин любя,
им мерил коммунизм в тамбовском бреде,
а крестную судьбу прикинул на себя.
Второй кричал: «Где Ржев?!» – горелым глазом
зыркал.
А третий – лоб крестил обрывком бескозырки.

ПОКРОВ

О сроках, родная, не знаю я –
не вспять, и стоп-кран не сорвать.
Наш век под пожарищем знамени –
босая Христова трава:

Расхристана ветром неистовым –
с поклоном уходит под снег,
разгладивший землю бугристую,
затверженную в кривизне.

Но память – дитя передраги –
припрячет истории рвань:
нимб лампы в кромешном бараке.
Гармонь. И в алмазах – герань.

И детский фонарь осознания –
сквозь ветхий чердачный кров,
в ответ на огни мироздания
сигналивший: «Здесь – любовь».

ЖИВОПИСЬ

Забыв о времени, об имени своём,
лишь осенённый чувственным сознаньем –
смирненным дикарём в счастливом прозябанье
всю ночь со звёздами плыву за окоём.

И растворяюсь в мире этом – смертном,
где суть: не одинок ни человек, ни Бог,
пока животворит магический исток –
горит проектором Глагол ветхозаветный.

И воскресая лишь в рассветной нови,
как зритель, для кого Господь крутил кино.
И тщусь перенести на полотно
дуэт стрекоз, подсвеченный любовью.

ЧЕРНОЗЁМ

Виктору Коврижных

Темна и голодна дернина дней созревших:
им отданы миров огни, и голоса,
и времена, где ты – их стык! – остался прежним
на тверди, что не раз меняла полюса.

И жизнь моя – в прирост, в исподник травостоя,
где память бытия – всеобщий кровоток,
таинственный замес, творящий всё живое.
Как щедро в нём разлит божественный желток!

Став притчею веков – мы у порога дома,
где ал-раскаян лист к отечеству припал.
И первый снег – простак и простоты потомок –
скатёркой тишины весь белый свет убрал.

Мы – горняя капель, живущая полётом,
с дарующей руки берущая взаём
мгновенный облик лиц и душу как работу,
которую так ждёт небесный чернозём.

ОСЕННИЙ ПЕРЕДЕЛ

Осенний передел похож на поле боя:
шуга реки хрипит, листвою лес истёк,
а подоспевший снег – медбрат страны покоя –
бинтует широко, над логом занемог.

Клубятся, восстают туманы дней ушедших,
впитавших образ твой, словарь твоих имён,
какие здесь цвели поверх отавы грешной
и на какие я тобой благословлён.

Как трудно мне вращаться в мир нового покроя:
жевать бездушный хлеб, пить мёртвых догм
квасок –
и видеть над собою око всеблагое,
под коим в каждый миг я наг и одинок.

Скажи, зачем стою над памятью-рекою,
что рвёт здесь тень мою, упавшую в поток?
Зачем мне дал познать и видеть – что такое,
когда уходит жизнь, та, что любить я смог?

ПО ЖИВОМУ

Тонкий лёд прогибается с треском,
сполох молний под тяжестью шага:
по-над водами с верою детской,
по-над страхом – с недетской отвагой.

Как припомню морозное чудо,
улыбаюсь я – на небо глядя,
даже если целую иуду,
что жуёт втихомолку проклятья.

Верой греюсь, дышу и – шагаю.
Век страстной прогибается с треском.
Не умею втихую по краю:
по-над бездною – с силою крестной.

По гранитам родимого дома,
что мне кровью отцовской завещан
и что рвёт на куски по живому
набегающей губительной трещиной.

В осмолённой немыслимой выси
словно дратвы сквозные прошивы –
это жилы терпения живы
в свете лживо мерцающих истин.